

INSPIRIA

THE MAN
BOOKER
INTERNATIONAL
PRIZE 2020



МАРИКЕ
ЛУКАС
РЕЙНЕВЕЛД
НЕЛОВКИЙ
ВЕЧЕР



INSPIRIA

Мари́ке Лу́кас Рейневе́лд

Неловкий вечер

Серия «Loft. Букеровская коллекция»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63107266
М. Л. Рейневелд. Неловкий вечер: ООО «Издательство «Эксмо»;
Москва; 2021
ISBN 978-5-04-116806-3

Аннотация

Шокирующий голландский бестселлер!
Роман – лауреат Международной Букеровской премии 2020 года.

И я попросила у Бога: «Пожалуйста, не забирай моего кролика, и, если можно, заberi лучше вместо него моего брата Маттиса, аминь».

Семья Мюлдеров – голландские фермеры из Северного Брабантае. Они живут в религиозной реформистской деревне, и их дни подчинены давно устоявшемуся ритму, который диктуют церковные службы, дойка коров, сбор урожая.

Яс – странный ребенок, в ее фантазиях детская наивная жестокость схлестывается с набожностью, любовь с завистью, жизнь тела с судьбами близких. Когда по трагической

случайности погибает, провалившись под лед, ее старший брат, жизнь Мюлдеров непоправимо меняется. О смерти не говорят, но, безмолвно поселившись на ферме, ее тень окрашивает воображение Яс пугающей темнотой.

Холодность и молчание родителей смертельным холодом парализует жизнь детей, которые вынуждены справляться со смертью и взрослением сами. И пути, которыми их ведут собственные тела и страхи, осенены не божьей благодатью, но шокирующим, опасным язычеством.

Содержание

Часть I	6
1	6
2	15
3	23
4	32
Часть II	43
1	43
2	52
3	61
4	72
Конец ознакомительного фрагмента.	79

Мари́ке Рейневелд

Неловкий вечер

Marieke Lucas Rijneveld

De Avond Is Ongemak

Copyright © 2018 by Marieke Lucas Rijneveld

Фотография автора © Jouk Oosterhof

© Новикова К., перевод на русский язык, 2021

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

* * *

«Беспокойство дает крылья воображению».

Морис Хиллиамс

Часть I

*Написано: «Я обновляю вещи все!»
Но на аккордах словно сушится печаль,
Порывы, острые как нож, ломают веру
Мечтавшего сбегать от ярости начала.
Лед ливня месит цвет в стекло и кашу,
В неистовстве бродячий пес отряхивает шкуру.*

Из собрания стихотворений Яна Волкерса (2008)

1

Мне было десять лет, и я больше не снимала пальто. Тем утром мать намазала всех нас по очереди мазью для вымени «Бохена» из желтой баночки, которую обычно использовали от трещин, мозолей и похожих на цветную капусту наростов на сосках молочных коров. Крышка у баночки была такая жирная, что ее удавалось открутить, только обхватив кухонным полотенцем; мазь пахла как посыпанные солью и перцем толстые куски вымени, что тушились в бульоне на сковородке на плите и вызывали у меня отвращение, как и эта вонючая мазь на коже. Но мать продолжала тыкать жирными пальцами в наши лица, словно они были сыром, который она ощупывала и охлопывала, проверяя, как созревает корочка.

Наши бледные щеки блестели в свете кухонной лампочки, засиженной мухами. Этой лампочке годами собирались купить красивый абажур в цветах, но, когда мы натыкались на такой абажур в деревне, мать хотела поискать какой-нибудь еще. Искала она уже три года. Тем утром, за два дня до Рождества, я ощущала ее жирные большие пальцы на глазных яблоках и чуточку боялась, что она надавит слишком сильно и мои глаза выпрыгнут наружу, как стеклянные шарики. И что тогда она скажет: «Вот что происходит, когда вечно вертишься и ни на чем не задерживаешь взгляд, как пристало хорошей набожной девочке, которая смотрит снизу вверх на Господа, словно небеса в любой момент могут разверзнуться». Но небеса здесь разверзались только пургой, на которую незачем было пялиться.

Посреди стола для завтраков стояла сплетенная из тростника хлебная корзинка, накрытая салфеткой с рождественскими ангелочками. Они держали трубы или ослы, прикрывая свои маленькие члены; даже когда я держала салфетку против света, мне было не видно, как они выглядят, – я предполагала, что они похожи на свернутый ломтик болонской колбасы. На бумажных салфетках мать бережно разложила хлеб: белый, цельнозерновой с маком и рождественский кекс с изюмом. Хрустящую корочку кекса она аккуратно посыпала через сито сахарной пудрой, словно первым легким снежком, что утром лег на спины голландских коров на лугу, прежде чем мы загнали их под крышу. Клипса с пакета для

хлеба всегда лежала на коробке для сухарей, иначе мы бы ее потеряли, а мать считала, что пакет, завязанный узлом, – это некрасиво.

– Сперва соленое, только потом сладкое, – привычно сказала она. Это правило, тогда мы вырастем большими и сильными: большими, как великан Голиаф, и сильными, как Самсон из Библии. Кроме того, мы обязательно должны были выпивать большой стакан парного молока, которое обычно наливали из бочки за пару часов до завтрака, поэтому оно было немного теплым, и на нем иногда плавал желтоватый слой сливок, который прилипал к нёбу, если пить слишком медленно. Лучше всего было проглатывать молоко с закрытыми глазами, но мать называла это «непочтительностью», хотя в Библии ничего не написано о том, как следует пить молоко: быстро или медленно, ощущая вкус коровы или нет. Я вытянула белый хлеб из корзинки и положила к себе в тарелку, перевернув его так, чтобы он выглядел как бледная попка младенца. Особенно похоже выходило, если каждую половинку намазать шоколадной пастой: нам с братьями это всегда казалось смешным, и они говорили: «Ну что, вкусно тебе опять вылизывать задницу в кашках». Но чтобы взять шоколадную пасту, сперва мне нужно было съесть что-нибудь соленое.

– Если продержать золотых рыбок в темной комнате слишком долго, они станут белыми, – прошептала я Маттису и уложила на хлеб шесть ломтиков колбасы: так, чтобы они

поместились ровно, не выходя за пределы куска. *У тебя было шесть коров, двух съели. Сколько у тебя осталось коров?* Я слышала голос учителя в голове вместе со всем, что ела. Почему все эти дурацкие расчеты вечно связаны с едой – яблоками, пирожными, кусочками пиццы и печеньями, – я не знала, но в любом случае учитель уже оставил надежду, что я когда-нибудь научусь считать, а моя тетрадь станет образцово чистой, без красных росчерков. Мне потребовался год, чтобы научиться узнавать время по стрелкам часов – отец подолгу сидел со мной за кухонным столом с тренировочными часами из школы, которые он иногда в отчаянии швырял на пол, отчего из часов вываливались какие-то запчасти, и гадкая штука начинала трезвонить. Но стрелки до сих пор иногда превращались в дождевых червяков, которых мы вилами выкапывали за коровником, чтобы пойти порыбачить. Те тоже вечно извивались во все стороны, зажатые между большим и указательным пальцами, и ненадолго успокаивались, только если по ним несколько раз щелкнуть: ложились на ладонь и были похожи на красные клубничные сладости из магазина конфет «Фан Лёйк».

– Больше двух – говори вслух, – сказала наша сестричка Ханна, которая сидела за столом напротив меня, рядом с Оббе. Если ей что-то не нравилось, она шевелила губами слева направо.

– Некоторые слова пока слишком большие для твоих маленьких ушек и не пролезают, – сказала я с набитым ртом.

Оббе от скуки поболтал пальцем в своем молоке, вытащил из него пенку и быстро вытер ее о скатерть. Она приклеилась к ткани, как белесая сопля. Это было отвратительное зрелище, и я знала, что завтра эта сторона скатерти с высохшей пенкой от молока, возможно, окажется повернута ко мне. Тогда я откажусь ставить тарелку на стол. Мы все знали, что салфетки на нем лежат для красоты: после завтрака мать уберет их обратно в буфет нетронутыми, потому что они не предназначены для грязных пальцев и ртов. Мне и самой было как-то жаль сминать ангелочков в кулаке, словно комара, и ломать им крылышки или пачкать их светлые ангельские волосы клубничным вареньем.

– Я такой бледный на вид, что мне придется выйти на улицу, – прошептал Маттис. Он засмеялся и крайне сосредоточенно погрузил нож в белую часть шоколадной пасты «Дуо Пенотти», чтобы ни в коем случае не задеть коричневую. Мы ели «Дуо Пенотти» только на каникулах. Мы ждали ее так долго, что теперь, когда пришли рождественские каникулы и час наконец пробил, наступал самый лучший момент: мать отрывала бумажную защитную пленку с банки, счищала остатки клея с краев и показывала нам коричневые и белые пятна, похожие на уникальный узор на шкуре новорожденного теленка. Тот, у кого на прошлой неделе были лучшие оценки, допускался к банке первым – я всегда оказывалась последней в очереди. Я ерзала туда-сюда на стуле, ноги еще не совсем доставали до земли. Мне так хотелось

удержать всех дома, разбросать их по ферме, словно кусочки колбасы. Во время заключительного урока накануне учитель неспроста рассказал, что некоторые пингвины на Южном полюсе уходят ловить рыбу и больше никогда не возвращаются. Хотя мы и не на Южном полюсе, на улице все равно было холодно. Так холодно, что озеро замерзло, а в поилках для коров было полно льда.

Возле наших тарелок лежало по два светло-голубых термopakета. Я подняла один из своих и вопросительно посмотрела на мать.

– Поверх носков, – сказала она с улыбкой, от которой на щеках появились ямочки, – тогда тепло останется внутри, а еще ноги не промокнут.

Она готовила завтрак для отца, который ушел помогать разродиться корове. После каждого надреза она проводила ножом между большим и указательным пальцами, чтобы на них осталось масло, и затем собирала масло с пальцев тупой стороной ножа. Отец, наверное, в это время сидел на доильном табурете возле коровы в облаке пара над ее потной спиной, помогая животному разродиться. Дыхание и дым сигарет. Я отметила, что около его тарелки нет термopakетов – наверное, его ноги для них слишком велики, особенно левая, покалеченная во время аварии на комбайне, когда ему было лет двадцать. Рядом с матерью на столе лежал серебряный бур, с помощью которого она проверяла вкус сыров, которыми занималась по утрам. Прежде чем надрезать один

из них, она протыкала буром слой пластика в серединке, делала два оборота и медленно вытаскивала бур. А потом, так же, как ела белый хлеб во время церковного ужина – вдумчиво и благочестиво, медленно и с остановившимся взглядом, – она жевала кусочек куминного сыра. Оббе как-то раз пошутил, что тело Иисусово тоже состоит из сыра: вот почему нам можно есть всего по два кусочка в день на бутерброде, не то Он слишком быстро кончится. После того как мать произнесла утреннюю молитву и поблагодарила Бога «за нужду и излишки; когда многие едят хлеб из горестей, Ты накормил нас щедро и досыта», Маттис отодвинул стул, повесил на шею коньки-норвежки и засунул в карман куртки рождественские открытки, которые мать велела ему разложить по почтовым ящикам наших знакомых. Маттис шел на озеро: вместе с парой друзей он собирался на соревнования. Маршрут был длиной в тридцать километров, а победитель получал бутерброд с тушеным выменем и горчицей и золотую медаль с надписью «2000 год». Я бы хотела натянуть еще один термопакет ему на голову и плотно застегнуть его вокруг шеи, чтобы тепло сохранилось подольше. Он коротко потрепал меня по волосам, я быстро поправила их и стряхнула пару крошек с пижамы. Маттис всегда расчесывал волосы на пробор и мазал пряди у лица гелем: они тогда становились похожи на два завитка масла на блюде, которые мать всегда выкладывала во время Рождества, потому что масло из тюбика казалось ей недостаточно праздничным, оно под-

ходило только для обычных дней. А день рождения Иисуса не был обычным днем. Словно он каждый год рождался заново, как и умирал за наши грехи, что мне казалось странным. Я частенько размышляла: этот бедный человек на самом деле мертв давным-давно, а они об этом, должно быть, забыли. Но не стоит об этом говорить: без этого не было бы рождественского печенья с посыпкой, и никто бы не рассказывал рождественских сказок про трех волхвов и звезду на Востоке.

Маттис прошелся по коридору, чтобы полюбоваться своими локонами в зеркале. Правда, от мороза они станут твердыми как камень и прилипнут ко лбу.

– Можно мне с тобой? – спросила я. Отец достал мои фризские коньки¹ с чердака и привязал их коричневые кожаные ремешки к ботинкам. Я уже пару дней каталась в них по дому: руки за спиной, на лезвиях чехлы – чтобы не оставлять царапины на полу и матери не пришлось счищать мою страсть к конькам плоской насадкой пылесоса. Мои икры стали твердыми. Я уже достаточно натренировалась, чтобы выйти на лед и кататься без складного стульчика-опоры.

– Нельзя, – ответил он. А потом добавил тише, чтобы слышала только я: – Потому что мы поедem на ту сторону.

– Я тоже хочу на ту сторону, – прошептала я.

– Как станешь постарше – возьму.

¹ Лезвия, вставленные в деревянную основу, которую крепят к обычным зимним ботинкам с помощью ремешков и веревок.

Он надел шерстяную шапку и улыбнулся. Я увидела его брекеты с зигзагами натянутых синих резиночек.

– Буду дома до темноты, – крикнул он матери. На пороге он обернулся еще раз и помахал мне. Эту сцену я прокручивала в голове так много раз, пока его рука не переставала подниматься вверх, и я начинала сомневаться, правда ли мы тогда попрощались.

У нас было только три канала: Нидерланды-1, 2 и 3. По мнению отца, на них не показывали голых: он произносил слово «голых» так, словно ему в рот попала укусная мушка, и даже немного брызгал слюной. Это слово напоминало звук картофеля, который мать каждый вечер чистила и кидала в полную воды кастрюлю, звук-всплеск. Я представляла, что если будешь слишком долго думать о голых людях, то на тебе, как на картофелине, со временем появятся отростки, которые придется вырезать из мягкой плоти кончиком ножа. Мы скармливали зеленые раздвоенные ростки курам – те были от них без ума. Я лежала на животе перед дубовым шифоньером, в котором стоял наш телевизор. Под него ука- тилась застежка с коньков, когда я от злости швырнула их в угол гостиной. Я была слишком маленькой, чтобы отпра- виться на ту сторону, но слишком взрослой, чтобы кататься по навозной канаве за коровником. Это даже нельзя было на- звать катанием: я ковыляла, как гуси, что прилетали к канаве в поисках съестного, и с каждой царапиной от конька из-по- до льда выходил навозный дух, от которого лезвия сделались светло-коричневыми. Наверное, мы выглядели как слабоум- ные: стояли в этой канаве как два тупых гусенка, закутанные туловища мотаются туда-сюда от одного травянистого берега к другому, вместо того чтобы нестись по большому озеру на

соревнованиях, куда отправилась вся деревня.

– Мы не сможем пойти посмотреть, как выступит Маттис, – сказал отец, – у теленка понос.

– Но вы же обещали, – закричала я. Я уже натянула на ноги термопакеты.

– Это исключительное обстоятельство, – ответил отец и натянул черный берет до бровей. Я пару раз кивнула. Исключительным обстоятельствам нам было нечего противопоставить, не существовало ничего важнее коров, коровы были превыше всего. Даже когда они не требовали внимания, даже когда их толстые, громоздкие туши сыто лежали в стойлах, они все равно оставались исключительным обстоятельством. Я сердито скрестила руки. Все мои тренировки на фризских коньках оказались напрасны. Мои икры были тверже фарфоровых икр Иисуса, что стоял в коридоре и был размером с отца. Я нарочно запихала термопакеты глубоко в мусорное ведро, закопала их в кофейную гущу и корки хлеба, чтобы мать не смогла использовать их повторно, как салфетки.

Под шифоньером было пыльно. Я наткнулась на шпильку, высохшую изюмину и детальку от «лего». Мать закрывала дверцы шифоньера, когда к нам заходили родственники или старейшины из церкви: им не стоило видеть, что по вечерам мы позволяли себе сойти с путей Господних – ведь мать по понедельникам смотрела «Линго»², а мы в это вре-

² Нидерландская телевизионная передача наподобие «Поля чудес»: две команды соревнуются, пытаясь угадать слова.

мы должны были сидеть тихо, как мыши, пока она угадывала слова, стоя за гладильной доской. После каждого правильного ответа мы слышали свист утюга, и вверх поднимался пар. Большинство слов из игры в Библии не встречалось, но мать откуда-то их знала и звала их «пунцовыми словами», потому что от некоторых пунцовели щеки. Оббе однажды сказал, что если экран выключен, то телевизор становится оком Господним, и когда мать закрывала дверцы шкафа, она не хотела, чтобы Он нас видел. Наверное, она нас стыдилась, потому что мы порой выкрикивали пунцовые слова, когда «Линго» по телевизору не шла. Она пыталась отмыть наши сжатые челюсти от них с помощью куска зеленого мыла так же, как отстирывала пятна жира и грязи с нашей хорошей школьной формы.

Я водила рукой по полу в поисках застёжки от коньков. С того места, где лежала, я заглянула в кухню и увидела, как перед холодильником неожиданно появились отцовские зеленые сапоги с приклеившимися соломинками и коровьим навозом по бокам. Должно быть, он зашел взять из ящика для овощей морковную ботву. Он всегда срезал ее с морковок копытным ножом, который носил в нагрудном кармане комбинезона. В последнее время отец целыми днями ходил туда-сюда между холодильником и загонем для кроликов. С ним вместе ходило и пирожное, оставшееся с седьмого дня рождения Ханны. Когда холодильник открывался, я смотрела на пирожное с вожделением. Я не могла устоять: поти-

хоньку расковыривала ногтем уголок розовой глазури и клала ее в рот. Я проковыряла целый тоннель в креме, который затвердел в холодильнике и стоял на кончике пальца, как шапочка. Отец тоннель не заметил. «Если он что вбил себе в голову, то его не переубедить», – частенько говорила бабушка из религиозной половины нашей семьи, ну а я подозревала, что он откармливал кролика, которого мне подарила наша соседка Лин, к рождественскому ужину, который должен был состояться через два дня. Отец обычно не возился с кроликами: считал, что «мелкий скот» достоин лишь оказаться на тарелке, и любил только тех животных, что захватывали собой все пространство его взгляда – а мой кролик не занял бы и половины. Отец однажды сказал, что шейные позвонки – самые хрупкая часть тела. Я слышала, как они хрустят у меня в голове с таким звуком, словно мать ломала пригоршню сухой вермишели над кастрюлей: а еще на чердаке в последнее время висела веревка с петлей на конце. «Это для качелей», – говорил отец, но качели так и не повесили. Я не понимала, зачем этой веревке быть на чердаке, а не в сарае, среди отверток и отцовской коллекции нарезных болтов. Возможно, думала я, отец хотел, чтобы мы смотрели – возможно, так и будет, если мы нагрешим. Я мельком представляла, как мой кролик безжизненно висит на веревке на чердаке со свернутой шеей около кровати Маттиса, чтобы отцу было удобнее его свежевать. Шкурка с него, наверное, сошла бы так же легко, как с колбаски, которую мать чисти-

ла по утрам ножом для картофеля. Они бы засунули моего Диверчье, обмазанного сливочным маслом, в большую форму для запекания и поставили бы ее на конфорку, и весь дом бы пропах жарким из кролика. А мы, Мюлдеры, учуяли бы издалека, что рождественский ужин скоро будет на столе и следует хорошенько проголодаться. Я заметила, что, когда я задавала корм другим кроликам, меня заставляли быть бережливее, но Диверчье теперь позволяли кормить кучей разной еды помимо морковной ботвы, которую он получал и так. Несмотря на то что он был самцом, я назвала его в честь кудрявой девушки – ведущей программы *Журнал Синтерклааса*³, потому что она казалась мне ужасно красивой. Я бы с удовольствием добавила ее в список подарков к Рождеству, но с этим пришлось повременить, потому что в каталоге магазина игрушек «Интертойс» я ее не нашла.

К моему кролику были щедры не просто так, я в этом не сомневалась. Поэтому, когда мы с отцом перед завтраком шли собирать коров с пастбища и загонять их в зимние стойла, я предлагала ему других животных. В руках у меня была хворостина, чтобы подгонять коров. Лучше всего стегать их по бокам – тогда они шли послушно.

³ Святой Николай, аналог Санта-Клауса в Нидерландах и Бельгии. Он прибывает в Нидерланды из Испании в сопровождении двух чернокожих слуг – Черных Питов, чтобы подарить подарки послушным детям. Каждый день с приезда Синтерклааса из Испании и до его отъезда по телевидению идет специальная программа о том, как проходит его день, какие возникают проблемы, как они решаются.

– Ребята в моем классе будут есть утку, фазана или индейку. Их до отказа набивают через гузку картофелем, чесноком, пореем, луком и свеклой.

Я искоса посмотрела на отца. Он кивнул. У нас в деревне много разных кивков. Выразить себя можно только ими. Я быстро изучила их все. Этот кивок отец использовал, когда торговцы скотом предлагали ему слишком мало, но ему приходилось соглашаться, потому что бедное животное было с браком и иначе от него было вообще не избавиться.

– Тут полно фазанов, особенно в низине, – добавила я и посмотрела на заросший участок слева от деревни. Я иногда видела там фазанов, сидящих на деревьях или на земле. Когда они меня замечали, то камнем падали вниз и притворялись мертвыми, пока я не уходила, а затем задирали головы вверх.

Отец вновь кивнул, хлестнул своей хворостинкой по земле и закричал «шшшш, а ну пошли» коровам, за которыми мы пришли. После того разговора я все заглядывала в морозилку: среди упаковок фарша и овощей для супа не появилось ни утки, ни фазана, ни индейки.

Отцовские сапоги исчезли из виду. На полу осталась только пара соломинок. Я засунула пряжку в карман и в одних носках пошла наверх по лестнице в свою спальню, выходящую окнами во двор, присела на корточки у кровати и стала думать о руке отца на моей голове, после того мы загнали коров в хлев и пошли обратно на пастбище, чтобы проверить

ловушки для кротов. Если в ловушках никого не было, отец неподвижно держал ладони в карманах штанов: не было ничего, что требовало бы вознаграждения — в отличие от тех моментов, когда мы находили кротов и заржавевшей отверткой выковыривали переломанные окровавленные тушки из тисков. Я это делала наклонившись, чтобы отец не заметил слез, катившихся по моим щекам при виде маленьких живых существ, которые забрели в ловушку, ничего не подозревая. Я представляла, как отец этими же руками сворачивает шею моему кролику, словно крышечку от бутылки с защитой от детей: существовал один-единственный способ сделать это правильно. И как мать потом положит моего безжизненного Диверчье на серебряное блюдо, на котором она по воскресеньям после церковной службы обычно раскладывала салат с майонезом. Она устроит моего кролика на ложе из полевого салата, а на гарнир к нему будут огурцы, кусочки помидора, натертая морковь и немножко тимьяна. Я взглянула на свои ладони, на извивающиеся линии, бегущие по ним. Эти руки были еще слишком малы, чтобы что-то делать, они умели только хватать. Они пока помещались в ладонях матери и отца, но вот их ладони в мою не помещались. В этом и была разница между нами: они могли обхватить шею кролика или головку сыра, перевернувшуюся в бочке с рассолом. Их руки вечно что-то искали, и если они больше не могли с любовью удерживать человека или животное, то попросту его отпускали и обращались к чему-нибудь другому.

Я крепче прижала лоб к краю кровати, ощущая, как холодное дерево давит на кожу, и закрыла глаза. Иногда мне казалось очень странным, что для молитвы нужна темнота, хотя, возможно, это как с моим светящимся одеялом: звезды и планеты на нем начинали сиять и защищали меня от ночи, только если было достаточно темно. Наверное, так же это работало и с Богом. Я положила сложенные руки на колени. Сердито подумала о Маттисе, о том, как он, должно быть, пьет горячий шоколад у ларька на льду и как поедет дальше кататься с раскрасневшимися щеками, об оттепели, что придет завтра: кудрявая ведущая предупреждала о скользких крышах и тумане, из-за которого Черные Питы рискуют заблудиться, а может, и Маттис тоже. Вот только это будет его собственная вина. Перед глазами на мгновение возникли мои коньки, смазанные жиром и готовые отправиться в коробку на антресоли. Я думала о том, что слишком мала для многих вещей, но никто не говорил, когда же я стану достаточно взрослой для них и сколько это будет в сантиметрах на дверном косяке. И я попросила у Бога: «Пожалуйста, не забирай моего кролика и, если можно, заberi лучше вместо него моего брата Маттиса, аминь».

– Но он же не умер, – сказала мать ветеринару. Она встала с края ванны и вытянула руку со светло-голубой банной рукавицей – она как раз хотела заняться попой Ханны, чтобы в ней не завелись червяки, которые проделывают дырки в теле, словно в капустных листьях. Я была достаточно взрослой, чтобы самой позаботиться о червяках, и обхватила колени руками, чтобы казаться не такой голой, когда ветеринар вошел в ванную без стука. Задыхаясь, он сказал: «Уже почти на той стороне, за навигационными буйками, лед был слишком тонким. Он сильно вырвался вперед, и больше его никто не видел». Тут я сразу поняла, что речь не о моем кролике Диверчье, который сидел в своем загоне и хрустел морковной ботвой. Голос ветеринара звучал серьезно. Он частенько заходил к нам из-за коров. Мало кто вообще приходил к нам не ради коров, но это был именно такой случай: он до сих пор не заговорил про стадо, даже имея в виду нас – детей, и не спросил, как дела у коров. Когда он опустил голову, я вытянулась и заглянула поверх края ванны в окно. Уже начало темнеть, к дому приближалась группа дьяконов в черном: каждый день они приходили лично возвестить вечер и обнять нас. Я вообразила, что Маттис забыл о времени – это случалось все чаще и чаще, поэтому он получил в подарок от отца часы со светящимися стрелками, которые по несчаст-

ливой случайности именно сегодня надел вверх ногами, или что он задержался, разнося открытки. Я плюхнулась обратно в воду, положила подбородок на влажные руки и сквозь ресницы покосилась на мать. Недавно мы установили специальные щеточки на щель для писем, чтобы в дом не проникал сквозняк, и я иногда поглядывала сквозь их щетину на улицу. Вот и сейчас я думала, что мать и ветеринар не догадываются, что я подслушиваю и подглядываю сквозь ресницы, мысленно стирая линии вокруг рта и глаз матери, потому что они ей не идут, и большими пальцами выдавливая ямочки на ее щеках. Хотя обычно моя мать была не из тех, кто молчаливо кивает, скорее она была из тех, кто может наговорить слишком много, сейчас она только и делала что кивала, и я подумала: мама, скажи что-нибудь, пожалуйста, пусть это будет про уборку, про телят, которые опять теряют в весе, про прогноз погоды на следующие дни, про заклинившие двери в спальне, про нашу неблагодарность, про высохшую зубную пасту в уголках наших ртов. Но она молчала и смотрела на банную рукавицу. Ветеринар достал из-под раковины табуретку и сел. Та затрещала под его весом.

– Фермер Эфертсен выловил его из озера, – он немного подождал, перевел взгляд с Оббе на меня и продолжил: – Ваш брат мертв.

Я отвела от него взгляд и посмотрела на твердые от холода полотенца, висящие на крючке возле раковины. Я хотела, чтобы ветеринар встал и сказал, что это ошибка. Что сыно-

вья ничем не отличаются от коров: они тоже отправляются в большой мир на целый день, но к закату возвращаются и встают обратно в стойла на кормежку.

– Он катается на коньках, – сказала мать, – и скоро вернется.

Она выжала рукавицу досуха, от капель пошли круги, которые начали разбиваться о мои поджатые колени. Чтобы занять себя, я опустила кораблик из «лего» в воду, на волны, идущие от моей сестры Ханны. Она не поняла, о чем сейчас говорили, и мне подумалось, что я тоже могу притвориться, что мои уши завязались в узелок, который больше не распутать. Вода становилась едва теплой, и, не успев сдержаться, я описалась. Я смотрела, как охряно-желтая моча рассеивается, словно облако, и смешивается с водой. Ханна этого не заметила, иначе она с воплем вскочила бы и закричала «Грязнуля!». В руках она держала куклу Барби над поверхностью воды. «Чтобы не утонула», – пояснила она. Кукла была одета в полосатый купальник: я как-то раз просунула под него палец, чтобы пощупать пластиковые сиськи, и никто этого не заметил. Они были тверже, чем жировик на подбородке отца. Я посмотрела на голое тело Ханны. Оно было такое же, как у меня. А вот у Оббе оно отличалось. Он стоял возле ванны все еще одетый – как раз рассказывал про компьютерную игру, в которой ему нужно было стрелять в людей, а они взрывались, словно мясистые помидоры. Он должен был мыться в ванне после нас, в той же воде. Насколько я

знала, внизу у Оббе был краник, которым он мог писать, а под краником – бородка, как у индюка. Иногда я беспокоилась, что у него там что-то висит и что об этом никто не говорит. Может, он был смертельно болен? Мать называла это пиписькой, но, может, на самом деле это был рак, а они боялись нас пугать, потому что наша бабушка из нерелигиозной половины семьи умерла от рака. Прямо перед смертью она готовила «адвокат»⁴, и отец сказал, что, когда ее нашли, сливки были прокисшими: все прокисает, если человек умирает, неожиданно или ожидаемо, не важно. После этого еще несколько недель я не могла спать, потому что видела перед собой темное лицо бабушки в гробу, и из ее полуоткрытого рта, глазниц и пор сочился «адвокат», желтый, словно яичный желток.

Мать вытащила меня и Ханну из ванны за предплечья – на моей коже остались белые следы от ее пальцев. В обычные времена она оборачивала нас в полотенце и спрашивала, полностью ли мы просохли: чтобы мы не заржавели или, того хуже, не заплесневели, как трещинки между плитками в ванной. Сейчас она просто поставила нас на банный коврик, хотя мы стучали зубами, а у меня в подмышках все еще были остатки мыла.

– Хорошенько вытрись, – прошептала я своей дрожащей сестренке, стоящей рядом со мной, когда протягивала ей

⁴ Нидерландский яичный ликер на основе сливок, яиц, виноградного бренди и гоголь-моголя крепостью 14–20 %.

твердое как камень полотенце, – не то придется тебя потом оттирать от плесени.

Я наклонилась, чтобы проверить пальцы на ногах, ведь на них грибок появляется прежде всего, и чтобы никто не увидел, что мои щеки стали пунцовыми, как пламя, как два горячих «фаерболла» ⁵. *Если ты устроишь гонку между кроликом и мальчиком, с какой скоростью должен бежать один из них, чтобы стать победителем?* – услышала я в голове слова учителя. Он тыкал указкой мне в живот, принуждая меня ответить. После пальцев ног я быстро проверила кончики пальцев рук – отец иногда шутил, что, если мы слишком долго будем сидеть в ванне, с нас слезет кожа и он приколотит ее гвоздями к стене сарая, рядом со шкурками освеженных кроликов. Когда я встала прямо и завернулась в полотенце, рядом с ветеринаром неожиданно оказался отец. Он дрожал, на плечах комбинезона лежали снежинки, а лицо у него было бледное, как у мертвеца. Он все дул и дул в сложенные ковшиком ладони. Сперва мне вспомнилась лавина, про которую нам рассказывал учитель, хотя лавины, наверное, никогда не сходят по нашей равнине. Я поняла, что никакой лавины быть не могло, когда отец начал плакать, а Оббе принялся вертеть головой слева направо. Словно дворниками машины, стряхивающими слезы.

По просьбе матери соседка Лин в тот же вечер разобрала рождественскую елку. С дивана, на котором сидели мы с

⁵ Острые конфеты с корицей.

Оббе, я пряталась за радостными лицами Берта и Эрни ⁶, что красовались на моей пижаме, хотя мои страхи были ровно на одну голову выше их и торчали над их макушками. Из-за этих страхов я держала пальцы на обеих руках скрещенными, как мы делали на школьной площадке, когда говорили то, чего не имели в виду, или хотели отменить обещание или молитву. Печальным взглядом мы следили за тем, как выносят рождественскую елку, оставляющую за собой след из блесток и иголок. Только в тот момент я почувствовала укол в груди, более сильный, чем от слов ветеринара: Маттис, может, и вернется домой, а вот рождественская ель – вряд ли. Пару дней назад нам разрешили нарядить елку маленькими пухленькими снеговичками, сверкающими шариками, ангелочками, гирляндами из бус и шоколадными печеньицами, и все это под песню «Джимми» Баудевейна де Хроута ⁷. Мы знали песню наизусть и подпевали, предвкушая последние строчки, потому что в них было слово, которое нам нельзя было произносить. А теперь мы смотрели сквозь окно гостиной, как Лин увозит дерево прочь на тачке, накрыв его оранжевой клеенкой. Из-под клеенки торчала только серебряная верхушка, потому что ее забыли снять. Я никому об этом не сказала: к чему нам верхушка от елки, которую мы больше никогда не поставим? Соседка Лин пару раз поправила оранжевую клеенку, словно это могло что-то изменить

⁶ Персонажи «Улицы Сезам», в русской версии – Влас и Еник.

⁷ Популярный нидерландский певец и автор песен.

в нашем взгляде на происходящее. Маттис совсем недавно катал меня именно в этой тачке, а мне нужно было держаться обеими руками за бортики, покрытые тонким слоем высохшего навоза. Я тогда обратила внимание, что он стал больше сутулиться из-за тяжелой работы, которую уже начал делать на ферме. Мой брат вдруг побежал быстрее, так что я подскакивала все выше и выше на каждой кочке. Нужно было наоборот, подумала я теперь. Это я должна была катать Маттиса по двору, издавая звуки мотора, даже если бы он был слишком тяжел, чтобы увезти его на тачке, накрыв оранжевой клеенкой, словно мертвых телят, чтобы его забрали, чтобы нам можно было его забыть. На следующий день он родился бы заново, и в этом вечере не было бы ничего особенного.

– А ангелочки голые, – шепнула я Оббе. Они лежали перед нами на серванте возле шоколадных звездочек, подтаявших в своих обертках. У этих ангелочков не было труб или омелы, закрывающих пиписки. Отец наверняка не заметил этого, иначе он точно сложил бы их обратно в серебристую фольгу. Я однажды отломала ангелу крылышки, чтобы посмотреть, отрастут ли они заново – Бог бы точно мог об этом позаботиться. Я хотела получить какой-то знак, что Он правда существует и что Он рядом с нами весь день. Мне казалось это разумным, ведь тогда Он мог бы присматривать за тем, что тут происходит: и за Ханной, и чтоб у коров не было молочной болезни и инфекций вымени. Когда ничего не

произошло и вместо крыльев на месте обломка остались белые пятна, я похоронила ангела в огороде между парочкой еще не вырванных красных луковиц.

– Ангелы всегда голые, – прошептал Оббе в ответ. Он до сих пор не помылся, и вокруг его шеи висело полотенце: он держался за два свисающих конца, словно готовясь к бою. Вода и моя моча в ванне, должно быть, уже стали холодными как лед.

– И как они не простужаются?

– А они холоднокровные, как змеи или водные блохи, и одежда им не нужна.

Я кивнула и все же положила руку на фарфоровый член одного из ангелочков, чтобы убедиться. Когда соседка Лин вернулась обратно, я услышала, как она дольше обычного вытирает ноги в коридоре. Теперь каждый посетитель вытирал ноги дольше, чем это было необходимо. В первую очередь смерть требовала замещения, отсрочки боли. Требовала заботы о мелочах – как когда мать осматривала ногти в поисках затвердевших кусочков сырной закваски. Я надеялась, что Лин привела с собой Маттиса. Что он прятался в дупле дерева за пастбищем, а потом решил, что с него довольно, и вышел наружу: на улице было морозно. Проруби наверняка опять замерзли, и мой брат не сможет найти выход из-под льда: ему придется обыскать все озеро в одиночку в полной темноте, ведь даже фонарь конькобежного клуба сейчас выключен. Когда Лин закончила вытирать ноги, она загово-

рила с матерью так тихо, что я не смогла ее расслышать. Я лишь видела, как двигались ее губы, а мамины оставались сжатыми, как два спаривающихся слизня. Я позволила своей руке соскользнуть с члена ангелочка, и никто не обратил на это внимания, а потом я увидела, как мать уходит на кухню, втыкая шпильку в пучок. Она втыкала их одну за одной, словно пыталась закрепить собственную голову, чтобы та не распахнулась и все вокруг не увидели, что творится внутри. Она вернулась с мягкими печеньями. Мы купили их вместе на рынке около булочной, и я не могла дождаться, когда почувствую их нежную начинку и хруст посыпки между зубами, но мать отдала печенья Лин, как и рисовую запеканку из холодильника, и мясной рулет, который отец купил у мясника, и даже восьмидесятиметровую красно-белую бечевку, которой готовый рулет перевязывают. Мы могли бы связать этой бечевкой наши тела, чтобы они не рассыпались на части. Позже я иногда думала, что именно в этот момент пришла пустота: что она пришла не из-за смерти, а из-за двух рождественских дней, которые раздали в кастрюльках и пустых контейнерах из-под салата.

Гроб с моим братом стоял в гостиной. Он был из дуба, с окошечком на уровне лица и металлическими ручками и стоял в комнате уже три дня. В первый день Ханна постучала в стекло костяшками пальцев и сказала писклявым голоском: «Мне уже не весело, веди себя нормально, Маттис». Некоторое время она не двигалась, словно боялась, что он сейчас что-то прошепчет, а она не услышит, если полностью не замрет на какое-то время. Когда ответа не последовало, она вернулась к игре с куклами за диваном, ее худенькое тельце дрожало, словно стрекоза, и мне хотелось крепко сжать ее между пальцами и согреть ее дыханием. Но я не могла ей рассказать, что Маттис будет спать вечно, что останется лишь окошко в наших сердцах, где будет похоронен наш брат. Кроме бабушки с нерелигиозной стороны мы не знали никого, кто спал вечно, но в конце концов мы все восстанем вновь, ведь «мы живы по воле Господа», как частенько говорила бабушка с религиозной стороны, когда просыпалась с одеревеневшими коленями и зловонным дыханием, «словнодохлого воробья проглотила». И, как тот воробей, мой брат никогда больше не проснется.

Гроб стоял на тумбе на белой кружевной ткани, которую в дни рождений обычно стелили под сырные косички, орешки и стаканы с клюшоном. Вот и сейчас, словно на празднике,

вокруг кружева стоял кружок людей. Они уткнулись носами в платки или в шеи друг другу и говорили хорошие вещи о моем брате, но смерть оставалась уродливой и жесткой, как закатившийся куда-то тигровый орех ⁸, который спустя много дней после дня рождения мы находили где-нибудь за стулом или под шкафом для телевизора. Лицо Маттиса в гробу вдруг показалось мне восковым: до этого оно было гладким и словно натянутым. Под его веки сестры наклеили бумажки, чтобы глаза оставались закрытыми, но я бы хотела, чтобы они открылись, чтобы мы еще разок смогли посмотреть друг на друга, чтобы я была уверена, что не забыла цвет его глаз, а он не смог забыть цвет моих. Когда вторая группа посетителей вышла, я попробовала отклеить его веки и мимолетно подумала о бумажном рождественском вертепе, который я делала в школе из цветной упаковочной бумаги, исполнявшей роль витража, с фигурками Марии и Иосифа. За рождественским завтраком, когда позади вертепа зажигали свечку, упаковочная бумага начинала светиться, и в сияющем хлеву мог родиться Иисус. Но глаза моего брата оставались серыми и тусклыми, в них не вспыхивали узоры витража, поэтому я позволила его векам вновь упасть и закрыла смотровое окошко. Они пытались воссоздать его смазанные гелем локоны, но волосы повисли на лбу, словно вялые побуревшие бобовые стручки. Мать и бабушка натянули на

⁸ Твердые клубеньки на корнях осоки, известные в России как чуфа – популярная наживка для ловли карпов, также может употребляться в пищу.

Маттиса джинсы и его любимый свитер: зелено-голубой, со словом «ГЕРОИ» большими буквами на груди. Большинство героев, о которых я знала из книг, могли падать с высоких зданий или прыгать в море огня, но получали от этого максимум пару шрамов. Почему так не вышло у Маттиса и он остался бессмертным лишь в наших помыслах – я понять не могла. А ведь он однажды даже спас цаплю из-под зернового комбайна: птицу бы размолотило на кусочки, выбросило в стог сена, а потом ее скормили бы коровам.

Из-за двери, где пряталась, я услышала, как, обряжая моего брата, бабушка сказала: «Ты должен был плыть к темному пятну, ты же это знал». Я не могла представить, как это – плыть к темному пятну. Это же просто другой оттенок цвета. Если на льду лежит снег, нужно искать вверху более светлое пятно – но если снега нет, то лед кажется светлее, чем прорубь, и надо плыть к месту потемнее. Маттис сам мне это рассказывал, когда стоял у меня в спальне перед соревнованиями в шерстяных носках и показывал, как двигаться, сперва направляя ноги навстречу друг к другу, а затем раздвигая их в разные стороны. «Катиться рыбкой» называл он такую езду. Я смотрела на него с кровати и щелкала языком о небо, как по телевизору цокают об лед коньки-норвежки: мы считали этот звук прекрасным. Теперь мой язык лежал во рту, словно предательский навигационный канал. Я больше не осмеливалась издавать им цокающие звуки. Бабушка вышла из прихожей с бутылкой детского мыла в руках – воз-

можно, поэтому они и положили бумажки ему под веки: чтобы в глаза не попало и не защипало мыло. Когда они приведут его в порядок, то, наверное, уберут бумажки, как они задули свечку в моем вертепе, потому что Марии и Иосифу тоже нужно возвращаться к их обычной жизни. Бабушка на мгновение прижала меня к груди. Она пахла блинами на молозиве с салом и сиропом: до сих пор целая их стопка, оставшаяся после обеда, стояла на столешнице, лоснясь от сливочного масла, с хрустящими зажаренными краями. Отец тогда спросил, кто сделал на его блине улыбающееся лицо из ежевичного варенья, изюма и яблока, и по очереди посмотрел на нас всех, остановив взгляд на бабушке, которая улыбалась шире, чем сам блин.

– Бедного мальчика хорошо уложили, – сказала она.

На ее лице появлялось все больше и больше коричневых пятен, как на яблоках, которые она порезала ломтиками и которыми сделала улыбки на своих блинчиках. От старости люди подгнивают, как яблоки.

– А нам нельзя положить к нему свернутый блинчик? Это была его любимая еда.

– Завоняет. Хочешь приманить червяков?

Я отодвинула голову от ее груди и посмотрела на ангелочков, которые лежали на второй ступеньке лестницы в коробке, готовые отправиться обратно на чердак. Мне разрешили сложить их в серебристую фольгу, лицом на дно коробки. Я так до сих пор и не заплакала, хотя правда старалась – но не

выходило, даже когда я пыталась представить в деталях, как Маттис проваливается в прорубь. Как он ощупывает лед в поисках дыры – светлого или темного участка, как его одежда и коньки тяжелеют от воды. Я даже задерживала дыхание, но не продержалась и полминуты.

– Нет, – сказала я, – ненавижу мерзких червяков.

Бабушка мне улыбнулась. Мне хотелось, чтобы она перестала улыбаться, чтобы отец прошелся по ее лицу вилкой и смешал все, что на нем было, в кашу, как он сделал с блинчиком. Только когда она осталась в прихожей одна, я услышала ее сдавленные всхлипы.

В последующие ночи я тайно спускалась вниз проверить, правда ли мой брат мертв. Потом я долго вертелась в постели или делала «свечку», подбрасывая ноги вверх с матраса и упираясь руками в ягодицы. По утрам его смерть казалась очевидной, но, когда темнело, меня начинали одолевать сомнения. Что, если мы были недостаточно внимательны и он проснется под землей? Я снова и снова надеялась, что Бог передумал и не прислушался к моей молитве о спасении Диверчье, как тогда – мне было семь или около того, – когда я просила новый велосипед: красный с минимум семью скоростями и мягким седлом с двойной амортизацией, на котором промежность бы не болела на пути домой из школы против ветра. Мне так и не подарили этот велосипед. Если прямо сейчас спуститься вниз, надеялась я, то там, под белым льняным полотном, окажется не Маттис, а мой кролик.

Конечно, мне стало бы очень-очень грустно, но это чувство отличалось бы от ощущения пульсирующих вен на лбу, когда я задерживала дыхание в постели, пытаясь осознать смерть, или когда стояла в «свечке» так долго, что к голове приливала кровь, как стекающий воск. Наконец я опустила ноги на матрас и аккуратно открыла дверь своей спальни, на цыпочках прошла по коридору и спустилась вниз. Отец оказался там раньше меня: сквозь перила лестницы я увидела, как он сидит на стуле возле гроба, прижав голову к стеклу смотрового окошка. Я смотрела сверху на его лохматые светлые волосы, которые всегда пахли коровами, даже если он только что принял ванну, на его скрюченное дрожащее тело. Он вытирал нос рукавом пижамы: ткань, должно быть, затвердела от соплей, как и у меня. Глядя на него, я начала ощущать уколы в грудной клетке. Представила, что смотрю канал Нидерланды-1, 2 или 3 и могу выключить его в любой момент, когда станет невыносимо. Отец сидел так долго, что мои ноги замерзли. Когда он отодвинул стул и пошел обратно в постель – у них с матерью был водяной матрас, и он отправился в нем тонуть, – я сошла с лестницы и села на отцовский стул, еще теплый. Я прижалась губами к стеклу, как ко льду в своих снах, и подула на него. Ощутила вкус соли от слез отца. Лицо Маттиса было белым, как фенхель, а губы фиолетовыми из-за морозильного устройства, которое сохраняло холод. Мне хотелось его отключить, чтобы брат оттаял в моих руках: я бы отнесла его наверх, и мы бы обдумали на-

ше поведение ночью, как иногда приказывал отец, когда мы плохо себя вели и должны были отправиться в кровать без ужина. Я бы спросила его, правильно ли было вот так покидать нас.

В первую ночь, когда гроб стоял в гостиной, отец увидел, что я сижу на лестнице, обхватив руками перила и просунув голову между ними. Он повел носом и сказал: «Они засунули ему в попу вату, чтобы какашки не выпали. Наверное, внутри он еще теплый, и это меня как-то успокаивает». Я задержала дыхание и начала считать: тридцать три секунды без воздуха. Уже скоро я научусь не дышать так долго, что смогу вытащить Маттиса из его сна, словно лягушачьи икринки, которые мы вылавливали рыбацкой сетью из канавы за коровником и держали в ведерке, пока из них не вылуплялись головастики с хвостиками и лапками. Маттис бы точно так же стал живым и бодрым.

На следующее утро отец спросил снизу, не хочу ли я пойти вместе с ним к фермеру Янссену забрать кормовую свеклу и посеять ее на пустом участке. Я бы предпочла остаться с братом, чтобы в мое отсутствие он не растаял бесследно, как снежинка, но и отца не хотелось разочаровывать, поэтому поверх комбинезона я надела красное пальто, застегнув молнию до подбородка. Наш трактор был такой старый, что на каждой кочке меня подкидывало: приходилось крепко держаться за кромку открытого окна. Я нервно поглядыва-

вала на отца: на его лице остались следы сна – водяной матрас выдавливал на его коже полосы, похожие на реки, на отпечатки озера. Он не мог уснуть из-за дрожи тела матери, из-за собственной дрожи, из-за мыслей о том, как дрожит тело, оказавшееся в воде. На следующий день они купят обычный матрас. Мой живот заурчал.

– Хочу какать.

– Почему не сходила дома?

– Тогда мне не хотелось.

– Так не бывает, это всегда знаешь заранее.

– Но я не вру, кажется, у меня понос.

Отец припарковал трактор на грунтовке, выключил двигатель и протянул через меня руку, чтобы открыть дверь.

– Вон, садись под тем деревом, под ясенем.

Я быстро выбралась из кабины, сняла пальто и спустила к коленям комбинезон и трусы. Я представила, как мой жидкий кал разбрызгивается по траве, словно карамельный соус «Тофа», которым бабушка поливала рисовый пудинг, и сжала ягодичцы. Отец прислонился к шине трактора, закурил и взглянул на меня.

– Если будешь долго копаться, то кроты проруют нору у тебя в попе.

Я начала потеть, представляя ватную затычку в попе Маттиса, о которой говорил отец, и как кроты проруют норы в теле моего брата, когда его похоронят, и как потом они проруют дыры во мне. Мои какашки принадлежат только мне,

но как только они окажутся на траве, они будут принадлежать всему миру.

– Просто потужься, – сказал отец. Он подошел ко мне и с суровым взглядом протянул использованный носовой платок. Я не была знакома с этим его взглядом, хотя знала, что он ненавидит ждать, потому что тогда ему нечем было себя занять, и от этого он начинал больше курить. Никто в деревне не оставался без дела подолгу, потому что от безделья мог испортиться урожай: а мы знали все про урожай, который собирают с земли, но не про урожай, который растет внутри нас самих. Я вдохнула дым сигареты, чтобы разделить отцовские заботы. Потом коротко помолилась Господу, чтобы Он уберег меня от рака из-за сигаретного дыма, а я за это буду помогать лягушкам во время миграции земноводных, когда подрасту. В Библии я однажды прочла, что «праведный печется о жизни скота своего», так что от болезней я буду избавлена.

– Больше не хочется, – сказала я. Гордо натянула трусы и комбинезон, надела пальто и застегнула молнию до подбородка. Я могу удержать какашки в себе, я больше не потеряю ничего, что хочу удержать. Отец пнул окурок в кротовую нору.

– Пей побольше воды, телятам это помогает. Не то однажды пойдет из другой дырки.

Он положил мне на голову ладонь, и я изо всех сил старалась идти под ней ровно. Значит, теперь придется опасаться

одновременно двух вещей: рвоты и поноса.

Мы шли обратно к трактору. Новый участок был старше меня, но по-прежнему назывался новым. Так было и с доктором, что жил у подножия насыпи: теперь там была игровая площадка и неровная горка, но мы все равно называли это место «у старого доктора».

– Думаешь, Маттиса съедят черви? – спросила я у отца на пути к трактору. Я не осмеливалась взглянуть на него. Отец однажды читал нам из Исайи: «В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим; под тобою подстилается червь, и черви – покров твой», и теперь я боялась, что то же самое случится с моим братом. Не ответив, отец распахнул дверь трактора. Я в агонии представила тело брата в маленьких дырочках, как на пленке для выращивания клубники.

Когда мы добрались до свеклы, некоторые корнеплоды оказались насквозь гнилыми. Мягкая белая плесень, похожая на гной, прилипала к пальцам, когда я брала их в руки. Отец небрежно бросал их через плечо в прицеп. Они издавали глухой стук. Когда отец смотрел на меня, я чувствовала, как начинают пылать щеки. Стоило бы установить промежутки времени, думала я, когда родители могли и не могли бы смотреть на меня, как это было заведено с телевизором. Может быть, поэтому Маттис и не вернулся домой в тот день: дверцы шкафа с телевизором были закрыты, и никто не приглядывал за нами. Я больше не осмеливалась задавать отцу вопросы про Маттиса: бросила последнюю свек-

лу в прицеп и забралась в кабину. На проржавевшем ободке над зеркалом заднего вида был наклеен стикер: «Доите коров, а не фермеров».

Когда мы вернулись на ферму, отец и Оббе вынесли во двор темно-синий водяной матрас. Отец снял колпачок, открыл защитный клапан, и вода потекла на землю. Вскоре во дворе образовался тонкий слой льда. Я не осмеливалась встать на него, потому что боялась, что ночи отца и матери будут расколоты окончательно, если под него провалюсь и я. Темный матрас медленно сдувался, словно вакуумная упаковка из-под кофе. Потом отец свернул его и положил на обочину дороги рядом с рождественской елкой на тачке, которую в понедельник должны были забрать уборщики из «Рендак»⁹. Оббе толкнул меня: «А вот и он». Я вгляделась туда, куда он показывал пальцем, и увидела за насыпью похожий на ворона черный катафалк, что становился все ближе и ближе к нам. Он повернул налево и въехал во двор, на лед из водного матраса: лед, конечно же, раскололся. Из катафалка вышли Преподобный Рэнкема и два моих дядюшки. Отец выбрал их, а еще фермеров Эфертсена и Янсена нести дубовый гроб до катафалка, а потом до церкви, под Псалом 416 и музыкальное сопровождение группы Маттиса, в которой он много лет играл на тромбоне. Единственное, что тем утром было правильно, – это то, что героя несли на плечах.

⁹ Компания по переработке органического мусора.

Часть II

1

Вблизи бородавки у жаб похожи на каперсы. По-моему, эти зеленые бутончики отвратительные. Если раздавить такой бутончик между большим и указательным пальцами, то из него брызнет соленая вода, похожая на жидкость из ядовитой железы жабы. Я тычу в пухлый жабий зад палочкой. По спинке у нее идет черная полоска, жаба не двигается. Я тычу сильнее и смотрю, как неровная кожа собирается в складки рядом с кончиком палки, а гладкое брюшко на секунду прижимается к теплему асфальту, нагретому первыми весенними лучами солнца, на которых так любят греться эти слизистые животные.

– Я же просто хочу тебе помочь, – шепчу я.

Ставлю на землю рядом с собой фонарик, который нам вручили в реформатской церкви. Он белый с ребристыми складочками посередине. «Слово Господне – светоч, направляющий ваши ноги и освещающий ваш путь», – сказал Преподобный Рэнкема, когда раздавал их детям. Еще даже нет восьми, а свечка в моем фонарике уже сгорела наполовину. Надеюсь, Слово Господне не потухнет вместе с ней. На свету я вижу, что у жабы на передних лапках нет перепонок. Мо-

жет, она такой родилась или ею немного полакомилась цапля. Может, ее лапки – как отцовская покалеченная нога, которую он волочит по двору, словно слишком тяжелый мешок с силосом.

– А еще все получают лимонад и батончики «Милки Уэй», – слышу я слова церковного волонтера за спиной. Мысль о том, чтобы съесть «Милки Уэй» в месте, где нет ни единого туалета, вызывает у меня рвотные позывы. Никогда нельзя знать наверняка, не чихнул или даже не плюнул ли кто в лимонад и проверили ли они срок годности у батончиков: вдруг слой шоколада поверх нуги побелел, как это происходит с твоим собственным лицом, когда тебя тошнит. Я уверена, после такого смерть неминуема. Стараюсь забыть про батончики.

– Если не поспешите, то у вас на спинах будут не полосочки, а отпечатки шин, – шепчу я жабам. От сидения на корточках колени начинают ныть. Жаба без перепонок по-прежнему не шевелится. Одна из ее родственниц пытается прокатиться на ее спине, засунув передние лапки ей под мышки, но все время соскальзывает. Должно быть, эти две жабы боятся воды, как и я. Я встаю, поднимаю фонарик и, пока никто не видит, быстро запихиваю жаб в карман пальто, а затем ищу в группе людей двоих ребят в светящихся жилетах.

Мать настояла, чтобы мы их надели:

– Не то вас самих раздавят, как этих жаб. Никто этого не хочет. А в жилетах вы будете светиться, как фонарики.

Оббе понюхал ткань:

– Я ни за что это не надену. Мы будем похожи на полных идиотов в этих грязных вонючих потных штуках. Там не будет никого в жилетах.

Мать вздохнула:

– Я вечно все делаю не так, да? – Кончики ее губ опустились вниз. В последнее время они постоянно были опущены, словно на них повесили грузила в форме фруктов, что крепятся к уголкам скатерти на столе в саду.

– Мама, ты все делаешь так. Мы их наденем, – сказала я, жестикулируя Оббе. Эти жилеты надевают ребята из последнего класса младшей школы, когда сдают экзамен по езде на велосипеде, в котором мать каждый год играет важнейшую роль. В дни заездов она сидит на складном стуле у единственного перекрестка в нашей деревне: лицо озабоченное, губы сжаты, словно маковый бутон, который не хочет распускаться. Ее задача – следить за тем, чтобы все участники указывали рукой, куда хотят повернуть, и проезжали безопасно. На том перекрестке я впервые ощутила стыд за свою мать.

Ко мне приближается светящийся жилет. В правой руке Ханна тащит черное ведро с жабами, жилет наполовину растегнут, его полы развеваются на ветру. От этого я нервничаю:

– Застегни жилет.

Ханна поднимает брови – скобки на ткани ее лица. Гля-

дя на меня, она удерживает это выражение легкого раздражения. Теперь, когда солнце днем становится теплее, у Ханны на носу появляется все больше веснушек. У меня в мозгу мелькает картинка: раздавленная Ханна с веснушками, рассыпавшимися по уличным булыжникам, как сбитые машинами жабы. Тогда нам придется отскребать ее от дорожного покрытия лопатой.

– Но мне так жарко, – говорит Ханна.

В этот момент между нами встает Оббе. Его длинные светлые волосы свисают жирными прядями у лица. Он раз за разом заправляет их за ухо, но они медленно сползают обратно.

– Смотри, а эта похожа на Преподобного Рэнкема! Такая же огромная голова и выпученные глаза. И у Рэнкема тоже нет шеи.

У него на ладони коричневая жаба. Мы смеемся, но не очень громко: над пастором нельзя смеяться, так же как и над Богом: они лучшие друзья, а с лучшими друзьями нужно держать ухо востро. У меня пока нет лучшей подружки, но в моей новой школе много девочек, и одна из них может ею стать. Оббе на пять классов старше меня и учится в средней школе, а Ханна на два класса младше. У нее подруг столько, сколько учеников было у Иисуса.

Оббе вдруг поднимает фонарь над головой жабы. Я вижу, как ее кожа светится бледно-желтым. Она зажмуривает глаза. Оббе начинает ухмыляться.

– Они любят тепло, – говорит он, – поэтому прячут свои уродские головы в грязь зимой.

Он придвигает фонарь все ближе и ближе. Если каперсы пережарить, они становятся черными и хрустящими. Я хочу оттолкнуть руку Оббе, но тут к нам подходит женщина с лимонадом и батончиками «Милки Уэй». Оббе быстро убивает жабу в ведерко. Лимонадная женщина одета в футболку, на которой написано «ВНИМАНИЕ! ЖАБЫ НА ДОРОГЕ». Наверное, она заметила шок на лице Ханны, потому что спрашивает, все ли у нас в порядке и не расстраивают ли нас раздавленные тушки вокруг. Я с любовью обнимаю сестренку, которая уже выпятила вперед нижнюю губу. Я знаю: она вот-вот разревется, как сегодня утром, когда Оббе раздавил кузнечика о стену коровника клонпом ¹⁰. Мне показалось, ее скорее испугал звук удара, но она не унималась: для нее это была маленькая жизнь, с крылышками, сложенными над головой, словно маленькие ситечки. Она видела жизнь там, где мы с Оббе видели смерть.

Лимонадная женщина криво улыбается и протягивает «Милки Уэй» из кармана своего пальто каждому из нас. Я беру свой из вежливости, но, пока она не видит, снимаю с него обертку и кидаю в ведерко к жабам: у жаб никогда не болит живот и жаб не пучит.

– Три волхва в полном порядке, – говорю я.

С тех пор как Маттис не вернулся домой, я называю нас

¹⁰ Традиционная нидерландская обувь – галоши из дерева.

трем волхвами, потому что однажды мы тоже найдем нашего брата, даже если ради этого придется отправиться далеко-далеко и захватить с собой подарки. Я машу своим фонариком на какую-то птицу, отгоняя ее прочь. Свечка в фонаре опасно качается, и капли свечного воска падают мне на сапог. Опешившая птица шарахается в сторону деревьев.

Куда бы ты ни отправился в деревне или в польдерах ¹¹, везде видны высушенные тельца амфибий, похожие на крошечные скатерти. Вместе с волонтерами и другими детьми, которые пришли помочь, мы переносим полные ведерки и фонарики на другую сторону насыпи, которая вдаётся в озеро. Сегодня вода выглядит невероятно невинной, а вдали виднеются контуры фабрик, высокие здания с десятками огней и мост между деревней и городом – словно проход, который открыл Моисей, простерев руку в сторону моря, как сказано в Библии: «и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше: воды же были им стеною по правую и по левую сторону».

Ханна встает рядом со мной и внимательно смотрит на ту сторону.

– Только посмотри на эти огни, – говорит она, – наверное, у них там каждый вечер проходит парад фонариков.

¹¹ Осушенная и защищенная от воды насыпями и дамбами территория, как правило, очень плодородная.

– Нет, это потому что они боятся темноты, – возражаю я.

– Ты сама боишься темноты.

Я трясую головой, но Ханна занята своим ведерком: десяти жаб и лягушек рассыпаются по поверхности воды. От тихих всплесков мне становится нехорошо. Я вдруг чувствую, что ткань моего пальто липнет к подмышкам. Я машу руками, как взлетающая птица крыльями, чтобы остудить их.

– А ты когда-нибудь хотела отправиться на ту сторону? – спрашивает Ханна.

– Нечего там смотреть, у них даже коров нет.

Я загораживаю ей обзор, встав перед ней и дергая за левую часть ее жилета, цепляю липучку и с силой нажимаю, чтобы она осталась застегнутой.

Моя сестренка делает шаг в сторону. Она собрала волосы в хвост, и при каждом движении он ободряюще стучит по ее спине. Мне очень хочется стянуть с нее резинку, чтобы она не думала, что все в этом мире возможно, и чтобы она тоже однажды не надела коньки и не исчезла.

– И ты не хочешь узнать, каково там?

– Конечно нет, тупица. Ты же знаешь, что... – я не заканчиваю предложение, но швыряю пустое ведро в траву.

Я иду от нее прочь и считаю шаги. Когда досчитываю до четырех, Ханна опять оказывается рядом со мной. Четыре – мое любимое число. У коров четыре желудка, в году четыре сезона, у стула четыре ножки. Тяжелое чувство у меня в груди лопается, словно пузырьки воздуха из озера, которые

расходятся по поверхности воды.

– У них там наверняка скучно без коров, – говорит Ханна быстро.

В свете свечи не видно, что нос у нее кривой. Правый глаз косит: чтобы взглянуть прямо, ей приходится все время настраивать свой взгляд, как выдержку фотокамеры. Как бы я хотела зарядить эту камеру новой пленкой, чтобы быть уверенной, что она никогда не пропадет на той стороне. Я протягиваю Ханне руку, и она крепко хватается за нее. Ее пальцы липкие на ощупь.

– А Оббе болтает с девочкой, – говорит она.

Я оборачиваюсь. Долговязое тело брата словно вдруг понимает, как ему двигаться: он делает размашистые жесты руками и впервые за долгое время громко смеется. Потом садится на корточки у озера. Наверняка рассказывает какую-то славную историю о жабах, о наших добрых намерениях, но не о воде, которая едва-едва прогрелась на солнце, не о воде, в которой теперь плавают жабы, не о воде, в которой полтора года назад опустился на дно наш брат. Вместе с девочкой Оббе возвращается по насыпи. Через пару метров мы перестаем его видеть, они оба исчезают в темноте. Мы находим на асфальте его наполовину сгоревший фонарик. Маленькая зеленая свечка лежит неподалеку, раздавленная, как гусиный помет. Я поднимаю фонарик на лопате – нельзя оставлять его здесь вот так, после целого вечера верной службы. Вернувшись в деревню, я вешаю его на ветку узловатой ивы. Де-

ревья стоят рядом, склонив кроны в сторону моей спальни, словно группка церковных старост, подслушивающих нас. Неожиданно я чувствую, как в кармане пальто шевелятся жабы. Я накрываю их ладонью защищающим жестом, наполовину оборачиваюсь к Ханне и говорю:

– Ничего не говори про ту сторону маме и папе, не то они еще больше расстроятся.

– Не скажу, это была глупая идея.

– Очень глупая.

В окне видны отец и мать, они сидят на диване. Со спины они выглядят как огарки свечей в наших фонариках. Мы тушим их слюной.

Мать все чаще ошибается с количеством еды в своей тарелке. Разложив еду, она садится и говорит: «А сверху казалось, что положила больше». Иногда я боюсь, что это наша вина, что мы съедаем ее изнутри, как один из видов пауков. Во время урока биологии учительница рассказывала, что после родов паучиха кормит свое потомство собой: маленькие голодные паучата пожирают мать целиком, не оставляя даже лапок. Они не оплакивают ее ни секунды. Точно так же, как мать всегда откладывает кусочек шницеля «кордон-блю» на край тарелки и говорит: «самое вкусное – на потом», приберегая его до конца трапезы на случай, если мы, ее потомство, еще не насытились.

Я тоже постепенно начинаю смотреть на нашу семью сверху, чтобы было не так заметно, как мало нас стало без Матиса. Например, теперь его место за столом – это просто сиденье и спинка, на которую мой брат больше не откидывается и не качается, а отец больше не рычит: «Вернись на четыре ножки!» Никому нельзя садиться на его стул. Я подзреваю, что это на случай, если он однажды вернется: «День, когда Иисус вернется, будет таким же, как и любой другой день. Жизнь будет течь как обычно. Так же как когда Ной строил свой ковчег, люди будут работать и есть, пить и жениться. Так же как ждут Его возвращения, здесь будут ждать

Маттиса», – сказал отец на похоронах. Когда Маттис вернется, я подвину его стул так близко к столу, что его грудь коснется края, чтобы он не уронил ни кусочка еды и не пропал бесследно. Со дня его смерти наши трапезы занимают пятнадцать минут. Когда большая и маленькая стрелки встают вертикально, отец встает. Он надевает черный берет и идет заниматься коровами, даже если дел никаких не осталось.

– Что на обед? – спрашивает Ханна.

– Молодая картошка с фасолью, – говорю я, сняв одну из крышек. Я вижу свое бледное лицо, отраженное в сковороде. Осторожно улыбаюсь, очень быстро, потому что, если долго улыбаешься, мать начинает пристально смотреть на тебя, пока уголки рта снова не опустятся. Здесь больше не из-за чего улыбаться. Единственное место, где мы иногда забываем об этом, – коровник, он вне поля зрения наших родителей.

– Мяса нет?

– Сгорело, – шепчу я.

– Опять.

Мать хлопает меня по руке, и я отпускаю крышку. Та падает и оставляет влажный круг на скатерти.

– Не будь алчной, – говорит мать, затем закрывает глаза. Все сразу же повторяют за ней, хотя Оббе, как и я, оставляет один глаз открытым, чтобы поглядывать вокруг. Никто никогда не предупреждает, что мы сейчас будем молиться или что отец собирается возносить благодарность – нужно это чувствовать.

– Пусть наши души не привязываются к этой преходящей жизни, но следуют велению Господнему и в конце концов навеки пребудут подле Него. Аминь, – говорит отец торжественным голосом и открывает глаза. Мать наполняет наши тарелки одну за другой. Она забыла включить вытяжку, и весь дом воняет обугленными стейками, а окна запотели изнутри. Теперь никто не сможет заглянуть к нам с улицы и увидеть, что мать в такой час ходит в розовом халате. В деревне все вечно заглядывают в окна к соседям: подсматривают, как другие семьи работают, как заботятся друг о друге. Отец сидит, положив голову на руки. Целый день он держал голову высоко, но теперь, за столом, она падает вниз, словно стала слишком тяжелой. Время от времени он поднимает ее, чтобы поднести вилку ко рту, но затем вновь опускает. Легкие уколы у меня в животе становятся чувствительнее, словно протыкая в нем дырки. Никто ничего не говорит, только вилки и ножи скребут по тарелкам. Я дергаю завязки пальто. Вот бы можно было сидеть на стуле на корточках. Так надутый живот меньше болит и видно лучше. Отец думает, что мое отношение неуважительно, и тычет мне в колено вилкой, пока я не сажусь обратно на попу. Иногда на колене остаются ряды красных полосок, словно отпечатавшийся на коже подсчет дней, прожитых без Маттиса.

Вдруг Оббе наклоняется и говорит: «Знаешь, как выглядит авария в пешеходном туннеле?» Я как раз проткнула вилкой в фасолине четыре дырки – из них теперь сочится

сок, а фасолина похожа на блок-флейту. Прежде чем я успеваю ответить, Оббе открывает рот. Я вижу в нем водянистое картофельное пюре с кусочками фасоли и яблочным соусом. Оно похоже на рвоту. Оббе смеется, проглатывает свою аварию. На его лбу голубая полоска. Во сне он бьется головой о край кровати. Он еще слишком молод, чтобы беспокоиться об этом. По словам отца, у детей не бывает забот, потому что заботы приходят, когда начинаешь возделывать собственную землю. Но у меня все чаще и чаще появляются новые заботы, они не дают мне спать по ночам и, кажется, только растут.

Теперь, когда мать становится худее, а ее платья – свободнее, я боюсь, что она скоро умрет и отец последует за ней. Я хожу за ними весь день, чтобы они не смогли просто взять и умереть или исчезнуть. Они всегда остаются в уголке моего глаза, как слезы по Маттису. И я никогда не выключаю ночник-глобус на тумбочке, пока не услышу храп отца и дважды скрипнувшую кровать: мать всегда поворачивается справа налево и слева направо, прежде чем находит удобное положение. Потом я лежу в свете Северного моря и жду, пока не наступит тишина. Но если они вечером идут навестить знакомых в деревне и мать пожимает плечами на мой вопрос, во сколько они вернутся, я целыми часами лежу, уставившись в потолок. Воображаю, как я буду сиротой и что скажу учителю про причину их смерти. У смерти существует топ-десять причин. Однажды я погуглила их во время

перемены. Номер один – рак легких. Втайне я тоже составила список: утонуть, попасть в аварию и упасть в погреб под сараем – вот мои топ-три.

После мыслей о том, что я расскажу учительнице, и на мгновение отвлекаясь от жалости к себе, я вжимаюсь головой в подушку: я слишком взрослая, чтобы верить в зубную фею, но слишком маленькая, чтобы перестать скучать по ней. Оббе в шутку называет ее «зубной сукой», потому что однажды она взяла и перестала платить за его зубы, и все его коренные так и остались лежать под подушкой в кровавом пятне, потому что он их не ополаскивал. Если она однажды придет ко мне в гости, я ее раздавлю; тогда ей придется остаться, и я смогу пожелать себе новых родителей. У меня еще остались зубы мудрости, чтобы поменяться с ней.

Если родителей по-прежнему нет, иногда я спускаюсь вниз. Сажу на диване в темноте в пижаме, сжав колени, сложив руки, и обещаю Господу, что перетерплю еще один приступ поноса, если Он благополучно вернет родителей домой. Каждую секунду я жду, что раздастся телефонный звонок и мне скажут, что они потеряли управление за рулем или на велосипеде. Но телефон никогда не звонит, а я через какое-то время замерзаю и возвращаюсь наверх, где продолжаю ждать под одеялом. Родители оказываются живы, только когда я слышу скрип двери спальни и стук тапочек матери – лишь тогда я могу спокойно уснуть.

Прежде чем лечь спать, мы с Ханной немного игра-

ем. Ханна садится на ковер за диваном. Я смотрю на свои гольфы, их края завернуты. Я их расправляю. Моя сестра сидит рядом с островом Предвестников Бурь ¹², который принадлежал Маттису. Мы часто играли в него вместе, стреляли ракетами в воздух и воевали с врагом, которого выбирали сами. Обе лежит грудью на диване с наушниками в ушах. Он смотрит на нас свысока. На его серой футболке пятно от майонеза в форме Франции.

– Той, кто поломает деревья на острове, я разрешу десять минут послушать новый диск «Хитзоны» ¹³ у меня на плеере.

Оббе спускает наушники с ушей на шею. В моем классе почти у всех, кроме неудачников, есть CD-плеер «Дискмэн». Неудачники – они как палочки лакрицы в пакетике конфет ассорти: все их игнорируют. Я не хочу оказаться одной из них и поэтому коплю на плеер – ударопрочный «Филипс», который не будет заедать по дороге в школу, когда я поеду на велосипеде по кочкам и ухабам польдера. И еще мне нужен защитный жилет под цвет пальто. Накопить осталось совсем немного. Каждую субботу отец платит нам за помощь на ферме по два евро, которые он торжественно вручает со словами: «Копите на будущее». С мыслями о будущем плеере я могу забыть обо всем вокруг – даже о том, что отец

¹² Интерактивная игрушка-остров-космическая станция, вдохновленная анимационным сериалом Джерри Андерсона «Тандербёрды: Международные спасатели» 1965 года.

¹³ Сборники музыкальных хитов на CD-дисках, выходящие каждый год в Нидерландах.

хочет, чтобы мы от них съехали в будущем.

Деревья на острове когда-то были оливково-зелеными, но с годами они обесцветились, кое-где с них слезла краска. Прежде чем я успеваю осознать это, меня будто кто-то толкает, и я ломаю рукой целый ряд пластиковых деревьев: слышно, как они трещат между пальцами. Все, что можно сломать одной рукой, не достойно существования. Ханна тут же начинает кричать во все горло.

– Это же была шутка, чокнутая, – быстро говорит Оббе. Когда мать выходит из кухни, он отворачивается, вставляет наушники в уши. Мать затягивает пояс халата. Переводит взгляд с Ханны на меня, потом на Оббе. Видит в моей руке сломанные деревья. Ничего не говоря, она дергает меня вверх за руку, впиваясь ногтями в пальто, которое я больше не снимаю даже в доме, ногти проникают в ткань. Я стараюсь не издавать ни звука, и особенно – не смотреть на мать, чтобы ей не пришлось в голову избавиться от моего пальто, безжалостно сорвать его с меня, как она счищает шкурку с картофеля. Она отпускает меня на лестнице.

– Сходи возьми свою копилку, – говорит она, сдувая светлые пряди с лица. С каждым шагом мое сердце начинает биться быстрее. Я думаю о стихе из Книги Иеремии, который иногда произносит бабушка, когда читает газету, смачивая слюной большой и указательный пальцы, чтобы проблемы этого мира не слипались между собой: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?»

Никто не знает мое сердце. Оно глубоко спрятано под пальто, кожей и ребрами. Девять месяцев в животе моей матери мое сердце было важно, но, как только я покинула живот, все перестали беспокоиться о том, достаточно ли часто оно бьется. Никого не волнует, когда оно останавливается или начинает биться быстрее, подсказывая мне: что-то не в порядке.

Я должна положить свою копилку на кухонный стол. Это фарфоровая корова с щелью на спине. В зад у нее пластиковая затычка, чтобы вынимать деньги. Поверх затычки наклеен скотч, так что, прежде чем потратить деньги на глупости, придется сделать целых два действия.

– Из-за твоих грехов Он скрылся от тебя и больше не хочет слушать тебя, – говорит мать. Она протягивает мне молоток. Ручка еще теплая, должно быть, мать ждала меня, зажав его в руке. Я стараюсь не думать о плеере, который мне так хотелось. Утрата родителей куда хуже – на нового сына не накопишь.

– Но там же есть дырочка... – делаю попытку я.

Мать нажимает на ту половину молотка, с помощью которой выдирают гвозди из дерева, – она похожа на два металлических кроличьих ушка и на мгновение напоминает мне о том, что именно я принесла в жертву взамен жизни Диверчье. Молоток мягко упирается в раздутый живот. Тогда я беру его, поднимаю и позволяю с грохотом ударить по копилке; она тут же распадается на три части. Мать осторожно

вытаскивает красные и белые банкноты и несколько монет. Берет щетку и совок и сметает кусочки коровы. Я сжимаю ручку молотка так крепко, что мои костяшки белеют.

С головой, полной черно-белых образов, я лежу на кровати поверх покрывала с динозаврами. Держу руки прижатыми к телу, немного расставив ноги, как солдат в стойке «вольно», пальто – это мои доспехи. Сегодня в школе мы говорили про Вторую мировую войну и смотрели о ней фильм по каналу «Школа ТВ». У меня опять встает ком в горле. Я вновь вижу евреев, лежащих друг на друге, как кусочки бифштекса, обритые головы фрицев в машинах – они похожи на ощипанные задницы наших кур-несушек: такие же розовые и с черной щетинкой. Как только у одной из кур начинается приступ выщипывания перьев, никто в курятнике не остается в стороне.

Я приподнимаюсь на матрасе и отковыриваю одну из звездочек на скошенном потолке. Отец уже убрал несколько из них – он делает это каждый раз, когда я приношу домой плохие оценки и приходит его очередь желать мне спокойной ночи. Раньше он всегда придумывал историю о мальчике Янчье-бедокуре. Янчье всегда делает то, что нельзя. Но теперь либо Янчье стал хорошим мальчиком и его не нужно больше наказывать, либо отец просто забывает рассказать мне о нем.

– А где Янчье? – спрашивала я.

– Он устал и сокрушен горем.

Я сразу понимаю, что на самом деле это голова отца устала

и сокрушена горем, потому что Янчье живет в ней.

– А он вернется?

– Не стоит на это рассчитывать, – ответил отец с тревогой в голосе.

Когда звезду отклеивают, на потолке остается белый след от клея: каждый из этих следов напоминает мне о моих ошибках. Я прижимаю отклеенную звезду к пальто на уровне сердца. Пока учительница рассказывала нам про войну, мне стало интересно, каково это – целовать человека с усами, как у Гитлера. У отца усы появляются, только когда он пьет пиво. Над верхней губой остается полосочка пены. Усы у Гитлера, наверное, минимум в два пальца толщиной.

Под партой я положила руку на живот, чтобы успокоить ползающих в нем созданий. Они все чаще и чаще шевелились у меня в животе и паху. Я даже умела вызывать их сама, когда воображала, что лежу на Янчье. Иногда мне казалось, что именно поэтому Янчье был сокрушен горем – но пока голова отца оставалась на своем месте, я не раздумывала об этом всерьез. Я нечасто задавала вопросы – они просто редко приходили мне в голову. Но в тот раз я подняла палец ¹⁴.

– Как вы думаете, Гитлер иногда плакал, когда оставался один?

Учительница, которая еще иногда работает моим индивидуальным репетитором, долго смотрела на меня, прежде

¹⁴ Нидерландские школьники поднимают палец, а не руку, если хотят задать вопрос.

чем ответить. Глаза у нее всегда сияли, как будто в них были вставлены лампочки на долгоиграющих батарейках. Может быть, она ждала, когда я начну плакать, чтобы понять, хороший я человек или плохой. Ведь я так и не поплакала по брату, даже беззвучно – слезы до сих пор покалывают в уголках глаз. Я думаю, это из-за моего пальто. В классе было тепло, а значит, слезы бы обязательно испарились, прежде чем добрались до щек.

– Плохие парни не плачут, – сказала тогда учительница, – плачут только герои.

Я опустила глаза. Мы с Оббе плохие парни? Мать плакала, только повернувшись к нам спиной, и так тихо, что было не слышно. Все, что покидало ее тело, было бесшумным, даже ветры.

Потом учительница рассказала, что любимым занятием Гитлера было мечтать и что он боялся заболеть. Он страдал от спазмов в желудке, экземы и метеоризма, хотя последний у него был в основном из-за фасолевого супа, который он часто ел. Гитлер потерял трех братьев и сестру, ни один из них не дожил до шести лет. Я похожа на него, подумала я, и никому нельзя об этом знать. У нас даже день рождения одинаковый, 20 апреля. В какой-то из хороших дней отец рассказал, сидя в своем кресле для курения, что это был самый холодный апрель за много лет и что в ту субботу я пришла в мир светло-голубой, и меня пришлось вытесывать из матки матери, как статую из льда. В фотоальбоме рядом с моим

первым ультразвуком видна спираль – медная трубка с прикрепленной к ней дугой и белыми скобками, похожими на маленькие акульки зубы, каждый из которых готов был кусать сперматозоиды, а внизу нить – словно полоска слизи. Мне удалось обойти внутриматочную спираль и проплыть между акульих зубов. Если я спрашивала, зачем матери понадобились акульки зубы внутри, отец отвечал: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, но сначала убедитесь, что у вас достаточно спален; это была временная мера, Господь свидетель, но ты уже тогда была упрямой, как осел». После моего рождения мать больше не вставляла спираль. «Дети – это дар Господа». От даров отказываться нельзя.

Я тайно погуглила свой день рождения – мы можем пользоваться интернетом, только когда из слота вынут телефонный кабель, а интернет-кабель в него вставлен. При подключении он скрипит и шелкает, и нам нельзя им долго пользоваться, на случай если отцу и матери позвонят, хотя по важным делам им никогда не звонят. Звонки обычно про какую-нибудь корову, что сбежала исследовать новые земли. Родители думают, что все в интернете – не от Бога, как иногда отец говорит: «Мы в мире, но не от мира». Нам иногда позволяют пользоваться интернетом для школы, хотя я сомневаюсь в этой отцовской цитате из апостола Иоанна: окружающие говорят, что при одном взгляде на наши реформатские лица они сразу понимают, из какой мы деревни. В моем воображении тот день был полон сильных порывов ветра,

но, как отец утверждал, на улице было так тихо, что даже ветви узловатых ив замерли. В тот апрельский день Адольф был уже сорок шесть лет как мертв. И единственная разница между ним и мной в том, что я боюсь рвоты и диареи, а не евреев. Хотя я никогда не видела ни одного еврея, возможно, они до сих пор прячутся где-то на чердаках, или это из-за них нам нельзя спускаться в погреб – не просто же так мать заносит туда по две полные сумки покупок из магазина *Дирк* по вечерам в пятницу. В сумках куча банок с консервированными сосисками, а мы больше не едим сосиски.

Из кармана пальто я достаю смятое письмо, которое учительница нам задала написать Анне Франк. По-моему, это идиотское задание. Анна Франк мертва, и я знала, что почтовые ящики в деревне имеют только два слота: один для *иных почтовых индексов* и один для индексов поближе: с 8000 до 8617. Индекса небес среди них не было. Это была бы глупо, ведь по мертвым скучают больше, чем по живым, и почты приходило бы слишком много.

– Дело в сопереживании, – сказала учительница. По ее мнению, мне хорошо удавалось сопереживание и не очень хорошо – переживание собственной жизни. Иногда я застревала в сочувствии к другому человеку слишком надолго, потому что это было проще, чем оставаться наедине с самой собой. Я подтолкнула стул немного ближе к Белль. Мы с ней сидели рядом с первой недели года. Она мне сразу понравилась, потому что у нее были большие уши, торчащие из-под

светлых соломенных волос, а ее рот слегка кривился, словно у глиняной куклы, которая высохла прежде, чем ее закончили. Больные коровы мне тоже всегда были милее: их можно гладить и они не лягут тебя в ответ. Белль наклонилась ко мне и прошептала: «Ты что, никогда не устаешь от своей формы?» Я проследила за взглядом ее накрашенных глаз – линии подводки изгибались, словно кривые на оси измерения, да так сильно, что невозможно было получить правильный ответ, – в направлении моего пальто. Завязки от капюшона у меня на груди стали жесткими от высохшей слюны. Когда дует ветер, они иногда обвиваются вокруг шеи, как пуповина.

Я покачала головой.

– О тебе болтают на школьной площадке.

– И что?

В это время я немного выдвинула ящичек под партой. Я единственная, у кого остался ящик, моя парта раньше стояла в начальной школе по соседству. Вид обернутых в фольгу свертков меня успокаивает: в ящике братское кладбище молочного печенья. В животе забурчало. Кое-какие печенья уже размякли, словно кто-то подержал их во рту, а потом выплюнул обратно в фольгу. После того как еда проходит сквозь внутренности, она превращается в какашки. В унитазах школы есть полочки – словно мои какашки будут поданы мне же на белоснежной тарелке. Не хотелось бы. Придется удерживать их внутри.

– Болтают, что у тебя нет сисек, поэтому ты всегда носишь пальто и никогда его не стираешь. И пахнешь коровой.

Белль поставила точку после заголовка вверху страницы перьевой ручкой. На мгновение мне захотелось стать этой синей точкой. Чтобы за мной ничего не следовало: ни перечислений, ни мыслей, ни желаний. Просто ничего.

Белль выжидающе смотрела на меня:

– Ты прячешься, как Анна Франк.

Я запихнула карандаш в отверстие точилки, которую вынула из сумки, и крутила его до тех пор, пока он не заострился. Я сломала его дважды.

Я верчусь на матрасе, который раньше принадлежал Матису, и ложусь на живот. Уже несколько недель я сплю в его комнате на чердаке и в его постели, а Ханна – в моей старой комнате. Иногда я думаю, что папин Янчье остался там, что ему слишком страшно тут на чердаке. Отец больше не рассказывает о нем, и это только подчеркивает его отсутствие. В центре матраса осталась ямка от тела моего брата, у нее форма смерти, и как бы я ни вертела и ни переворачивала матрас, дыра остается дырой, а я пытаюсь не угодить в нее.

Я ищу своего плюшевого мишку, но нигде его не вижу. Ни в ногах, ни под одеялом, ни под кроватью. Слышу в голове голос матери: «Мерзопакостно». Она произнесла это слово, выделив «пакость», и оно было в ее взгляде, когда она неожиданно вошла в мою комнату. Это уродливое слово: ко-

гда его произносишь, кажется, что тебя сейчас стошнит. Сначала она его выпалила, а затем повторила по буквам: м-е-р-з-о-п-а-к-о-с-т-н-о, ее нос был поднят вверх. Внезапно я догадываюсь, где мой медведь. Выскальзываю из простыней и смотрю из окна спальни вниз, в сад, где мой медведь висит на бельевой веревке. Уши прицеплены красными деревянными прищепками. Ветер покачивает его вперед и назад: он повторяет мое движение, когда я лежала на нем, а мать неожиданно вошла и три раза громко хлопнула в ладоши, словно отгоняя ворону от вишневого дерева. Она увидела, как я терлась пахом о пушистую попу медведя. Я занимаюсь этим с тех пор, как стала спать на чердаке. Я закрываю глаза и во время своих движений вспоминаю весь сегодняшний день: кто и что мне сказал и как именно они это сказали. Потом думаю о плеере Philips, который мне так хотелось; о двух улитках, что спаривались друг с другом, а Оббе оторвал их друг от друга отверткой; о ведущей Диверчье по телевизору; о Маттисе на льду; о жизни без пальто, но с самой собой. А потом мне хочется писать. «Идол – это то, к чему ты бежишь, прежде чем обратиться к Господу», – сказала мать чуть позже, когда я спустилась попить теплого молока с анисом. В наказание она засунула моего медведя в стирку и повесила его на бельевой веревке. Я тихо спускаюсь по лестнице в носках, проскальзываю по коридору, ведущему в сад, и выхожу навстречу теплому вечеру. Во дворе до сих пор горит свет. Отец с матерью кормят телят на ночь молочной

смесью – пропорция, которую мне не забыть никогда: ложка протеинового порошка на два литра воды. Так телята получают дополнительные белки, после смеси их носы пахнут ванилью. Я слышу гул бочки с молоком, грохот поилки. Быстро натягиваю кломпы матери у двери, несусь через лужайку к бельевой веревке, снимаю прищепки с ушей моего медведя и, крепко прижимая его к груди, нежно покачиваю, словно это Маттис, словно я выловила его из тьмы ночи, из глубины озера. Медведь тяжелый и мокрый. Потребуется целая ночь, чтобы он высох, и целая неделя – чтобы исчез запах порошка. В правый глаз медведя попала вода. Пока я иду обратно по лужайке, голоса отца и матери становятся громче. Кажется, они ссорятся. Я не выношу ссоры, как Оббе не выносит, когда ему перечат: он подносит руки к ушам и начинает напевать. Я не хочу быть заметной в темноте, поэтому закрываю рукой светящуюся звездочку на пальто и, держа медведя другой рукой, прячусь за сараем для кроликов. Теплый запах аммиака от кроликов проникает сквозь трещины в деревянных досках. Однажды Оббе выкопал из навоза несколько толстых червяков для рыбалки. Когда он попытался протянуть крючок сквозь маленькие тела, я быстро отвела глаза в сторону. Со своего места я слышу, о чем ссорятся родители, и вижу, что мать стоит рядом с навозной ямой, держа в руках вилы.

– Если бы ты не хотел избавиться от ребенка...

– О, теперь это моя вина? – говорит отец.

– Вот почему Бог забрал нашего старшего сына.

– Мы тогда не были женаты...

– Это десятая казнь египетская, я уверена.

Как и в стенах сарая для кроликов, в голосе матери тоже становится все больше трещин. Я задерживаю дыхание. Вдох. Пальто намокает из-за влажного медведя у меня на груди, его голова слегка наклонена. На мгновение я задаюсь вопросом, рассказывал ли Гитлер своей матери, что он собирается сделать и какое зло хочет сотворить. Я никому не говорила, что молилась о том, чтобы мой Диверчье не умер. Может, десятая казнь египетская пришла через меня?

– Мы должны жить с тем, что имеем, – говорит отец.

Я вижу его фигуру в свете прожектора. Его плечи выше, чем обычно.словно вешалка, которую он перевесил повыше, потому что мы подросли – его плечи подняты на несколько сантиметров. Мать смеется. Это не ее обычный смех – она так смеется, когда считает что-то совсем не смешным. Это сбивает с толку, но взрослые часто сбивают тебя с толку, потому что их головы похожи на тетрис, и им нужно расставлять все их заботы в нужные места. Если забот слишком много, они накапливаются и доходят до края. Game over.

– Да лучше я спрыгну с силосной башни.

Уколы в животе усиливаются. Мой живот – как бабушкина подушечка для иголок, в которую она втыкает булавки, чтобы не потерять.

– Ты же никому не рассказывала о том ребенке. Семье

не стоит об этом знать. Об этом знает лишь Господь, а он простит и тысячу прегрешений, – говорит отец.

– Пока ты их считаешь, – говорит мать и отворачивается. Она почти такая же худая, как вилы, прислоненные к стене сарая. Только теперь я понимаю, почему она больше не ест. Во время миграции жаб Оббе рассказал мне, что после спячки они не едят, пока не спарятся. Отец и мать больше не касаются друг друга, даже случайно. Это, вероятно, означает, что они больше не спариваются.

Вернувшись в свою спальню, я смотрю на жаб в ведре под столом. Они тоже все еще не спарились, и листья салата на дне ведра не тронуты.

– Завтра будете спариваться, – говорю я. Порой нужно ясно выразить свою позицию и установить правила, не то все будут через тебя переступать.

Я встаю перед зеркалом рядом со шкафом и расчесываю волосы на косой пробор. Так зачесывал волосы Гитлер, чтобы скрыть шрам от пули там, где она поцарапала лицо. Когда волосы расчесаны, я ложусь в кровать. В свете ночника смотрю на веревку, что висит на чердачной балке над моей головой. На ней все еще нет ни качелей, ни кролика. На конце веревки – петля. Достаточно широкая для заячьей шеи. Я пытаюсь успокоить себя, думая, что шея матери по меньшей мере в три раза толще, а еще она боится высоты.

– Ты злишься?

– Нет, – говорит мать.

– Ты расстроена?

– Нет.

– Счастлива?

– Обычная, – говорит мать, – я обычная.

Нет, я думаю про себя, мать совсем не обычная, и даже омлет, который она сейчас готовит, не обычный; в нем кусочки яичной скорлупы, и он пригорает на дне сковороды, а белок и желток высохли. Еще она больше не использует сливочное масло и забыла добавить соль и перец. В последнее время ее глаза запали в глазницы, как мой старый прохудившийся футбольный мяч, все глубже и глубже тонущий в навозной яме рядом с коровником. Я стряхиваю яичные скорлупки со столешницы в мусорное ведро и вижу в нем осколки моей разбитой коровы-копилки. Вытаскиваю ее голову, неповрежденную, не считая рогов, и быстро засовываю в карман пальто. Потом беру желтую тряпку, чтобы стереть следы слизи от разбитых яиц вокруг раковины. По телу пробегает дрожь: не люблю сухие тряпки. Когда они мокрые, то кажутся менее грязными, чем когда высохли и все еще полны бактерий.

Я ополаскиваю тряпку под краном и снова встаю рядом с

мамой – поближе, надеясь, что она случайно коснется меня, когда будет проносить сковородку к пустым тарелкам, расставленным на столешнице. Всего на секунду. Кожа к коже, голод к голоду. Отец заставил ее встать на весы перед завтраком, иначе он не пошел бы с ней в церковь. Это пустая угроза, я едва ли могу представить службу без него и даже иногда задаюсь вопросом, что стало бы с Богом без моего отца. Чтобы придать веса своим словам, он сразу после завтрака надел воскресную пару обуви, вместо того чтобы выставить ее для чистки. «Перед Господом следует появляться в начищенных туфлях», – иногда говорила мать. Особенно сегодня, потому что сегодня – день молитвы за урожай, и это важный день для всех фермеров в деревне. Дважды в год, до и после сбора урожая, члены нашего реформатского прихода собираются вместе, чтобы помолиться и поблагодарить за поля и урожай, что все может цвести и расти. А мама тем временем становится все худее и худее.

– Даже не полтора теленка, – сказал отец, когда мать наконец встала на весы. Он наклонился над цифрами. Мы с Оббе стояли в дверях и смотрели друг на друга: мы оба знали, как заканчивают телята, что родились с недобором веса: слишком худые, чтобы отправиться на бойню, слишком дорогие для откорма. Поэтому большинству из них просто делали укол. Чем дольше отец держал ее на весах, тем больше цифры пытались отползти назад, словно улитки, а мать становилась тише и, казалось, усыхала. Словно урожай за це-

лый год вял прямо перед нами, а мы ничего не могли с этим поделать. Мне бы хотелось поставить на весы пачку блинной муки и сахарную пудру, чтобы отец наконец прекратил. Он однажды рассказывал, что один теленок может прокормить около полутора тысяч человек, так что потребуется много времени, прежде чем мы полностью обглодаем маму до косточек. То, что он вечно смотрел на нее, мешало ей есть: мой кролик Диверчье тоже не принимался за морковку, выглядывая через дырки в своем загончике, пока не думал, что я ушла. Когда отец вернул весы под раковину, я быстро вынула из них батарейки.

Мать ни разу не прикасается ко мне, раскладывая омлет, даже случайно. Я делаю шаг назад, потом еще один. Печаль селится в позвоночнике: мамина спина становится все более и более изогнутой. На этот раз отсутствуют две тарелки: матери и Маттиса. Она больше не ест с нами, хотя изображает, что ест – делает себе бутерброд и все еще сидит во главе стола напротив отца: словно Аргус, она наблюдает, как мы пишем вилки в рот. На мгновение я представляю мертвого ребенка и злого волка, о котором рассказывала бабушка, укладывая нас под колючую лошадиную попону, когда мы оставались у нее. Злого волка схватили и вспороли ему живот, чтобы спасти семерых козлят, а потом вложили туда камни и зашили его. Должно быть, матери в живот тоже вложили камень, думаю я, и поэтому она иногда бывает такой жесткой и холодной.

Я откусываю кусок хлеба. Во время еды отец рассказывает о коровах, которые не хотят лежать в стойле, а предпочитают спать на бетонной сливной решетке, что вредно для вымени. Он поднимает в воздух кусочек омлета.

– Не соленый, – говорит он, делая глоток кофе с недовольным лицом. Яйцо без соли, но хотя бы с кофе.

– И снизу подгорел, – добавляет Оббе.

– И скорлупа попадает, – продолжает Ханна.

Все трое смотрят на мать, которая вдруг вскакивает из-за стола и бросает свой бутерброд с куминным сыром в мусорное ведро, а тарелку – в раковину. Она хочет, чтобы мы поверили, что она правда собиралась съесть этот бутерброд. И что это мы – причина потери ее веса. Она ни на кого не смотрит, словно мы корки от бутерброда, которые она всегда аккуратно срезает и кладет рядом с тарелкой, словно штрафные баллы, которые мы все равно получим. Повернувшись к нам спиной, она говорит:

– Ну вот, вы вечно на его стороне.

– Да это же просто несчастное яйцо, – говорит отец. Его голос становится ниже – знак того, что он ждет возражений; порой, даже если никаких возражений нет, он заставляет окружающих передумать. Он нюхает поднятый ломтик омлета. Напряжение побуждает меня залезть мизинцем в ноздрю и достать оттуда козявку. Я мгновение смотрю на желтоватый шарик, затем кладу его в рот. Соленый вкус соплей меня успокаивает. Когда я хочу поднять мизинец еще раз,

отец дергает меня за запястье:

– Сегодня день молитвы, негоже собирать урожай.

Я быстро опускаю руку, толкаю язык в глотку так глубоко, насколько это возможно, и одновременно поднимаю нос. Это работает. Рот заполняется соплями, которые я могу проглотить вновь. Мать разворачивается. Она выглядит уставшей.

– Я плохая мать, – говорит она. Смотрит на лампочку над кухонным столом. Пора уже накрыть ее абажуром. С цветами или без. Мы должны поднять матери настроение. Но когда мы начинаем разговор об этом, она отвечает, что об этом больше не стоит беспокоиться. Что она стара, а для нас это обернется лишними хлопотами: нужно будет делить абажур и мебель после их смерти, как и все остальные вещи, на которые она больше не желает тратить деньги в ожидании Судного дня. Я быстро встаю рядом с ней с тарелкой в руке. Футбол в школе учит нас занимать правильную позицию. Кто-то должен быть капитаном, нападающим или защитником. Я засовываю в рот слишком большой кусок яичницы.

– Это идеальная яичница, – говорю я, – не слишком соленая и не слишком мягкая.

– Да, – говорит Ханна, – а в скорлупе есть кальций.

– Послушай их, женщина, – говорит отец, – не так уж ты и плоха.

Он на мгновение усмехается и скользит ножом по языку – темно-красному с синей прожилкой снизу: болотная лягушка в брачный период. Вылавливает шарик мюсли из хлебной

корзины и осматривает его со всех сторон. Каждую среду перед школой мы забираем хлеб из деревенской пекарни. У хлеба истек срок годности, и вообще-то он должен идти на корм курам, но в основном мы едим его сами. Отец говорит так: «Если цыплята от него не болеют, то и вы не заболее-те». Но я все-таки иногда опасаясь, что во мне начнут расти грибы, а кожа однажды станет сине-белой, как те хлебцы с травами, с которых отец срезает плесень большим ножом и затем дает нам. Я боюсь, что в конечном итоге я сгожусь только на корм курам.

Тем не менее хлеб хорош на вкус, а визит к пекарю – лучшая поездка за неделю. Отец гордо демонстрирует свою добычу: булочки-улитки с глазурью и изюмом, песочное печенье, хлеб на закваске, спекулас ¹⁵ и пончики. Мать всегда охотится на круассаны, хотя считает, что они слишком жирные: выбирает самые лучшие, и ее успокаивает, когда мы их едим. Остальные идут цыплятам. Я думаю, в этот момент мы бываем ненадолго счастливы, даже если отец утверждает, что счастье не для нас, а мы не для него, так же как наша светлая кожа не предназначена для того, чтобы находиться на солнце дольше десяти минут, и поэтому мы вечно ищем тень и темноту. В этот раз нам достался еще один пакет с хлебом. Вероятно, это для евреев в подвале. Может, для них мать делает вкусные омлеты и обнимает их, а потом забывает крепко обнять нас, как я иногда обнимаю кошку соседки

¹⁵ Пряное хрустящее печенье.

Лин – так, что чувствую под шкуркой ребра, прижавшиеся к моему животу, а ее маленькое сердце бьется рядом с моим.

В реформатской церкви на насыпи мы всегда сидим на передней скамейке – утром, вечером и иногда днем, на детской службе, – чтобы все видели, как мы входим, и знали, что, несмотря на нашу потерю, мы по-прежнему входим в Дом Божий, что доверяем себя Господу, несмотря ни на что. Хотя я все больше сомневаюсь, что все еще нахожу Бога достаточно славным, чтобы встретиться с Ним. Так я и узнала, что веру можно потерять двумя способами. Некоторые люди теряют Бога, когда находят, а другие – когда теряют самих себя. Думаю, что буду во второй группе. Воскресная одежда туго натянута на руках и ногах, как будто мерку сняли еще со старой версии меня. Бабушка сравнивает троекратный поход в церковь с завязыванием шнурков: сначала делаешь прямой узел, потом петлю, связываешь их, а напоследок – двойной узел, чтобы они наверняка не развязались, – так и Слово с третьего раза запомнится как следует. А по вечерам вторника мы с Оббе и пара бывших одноклассников из начальной школы ходим на уроки Катехизиса домой к Преподобному Рэнкема, готовимся к конфирмации. Там его жена дает нам лимонад с сиропом и кусочек фризской сдобы. Мне нравится ходить к ним, но больше из-за сдобы, чем из-за Слова Божия.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.